

ГЛАВА III

«ФИЛОСОФИЯ СЕРДЦА» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭСТЕТИКИ ШМЕЛЕВА

И. А. Ильин назвал Шмелева «ясновидцем человеческого страдания». Он писал: «В мировой скорби есть две стороны: во-первых, *страдание самого мира и человека*; во-вторых *страдание о мире и о его страдании*. Растение и животное страдают в мире, но не могут вместить в себя страдание *о мире*. Человек страдает не только *о мире*, но имеет еще высшую способность страдать *о мировом страдании* и за него, т. е. понять и осознать, что все живое томится, вздыхает и стонет, принять к сердцу эти вздохи и пережить скорбь о скорби мира. Как только человек осуществляет это, он приближается духом к Богу»¹.

Ощущение мирового страдания как личной боли появилось у Шмелева в годы Первой мировой войны. Сразу же после ее начала русское общество разделилось на две неравные половины. Большая часть, патриотически настроенная, поддержала призыв объединиться перед лицом военной опасности для защиты «веры, царя и отечества». Другая, считая войну империалистической, развязанной для передела сфер влияния между крупными державами, выдвинула лозунг поражения своего правительства в войне и единения пролетариев всех стран. Раскол произошел и в среде международной социал-демократии: большинство европейских лидеров голосовало в парламентах за военные кредиты, большевики-ленинцы и близкие к ним социал-демократы (интернационалисты) призывали к братанию на фронте и к перерастанию войны во всемирную революцию.

В обстановке все возрастающей ненависти к «германизму» раздавалось немало публичных утверждений о том, что немецкая культура неотделима от милитаризма, а философия Канта породила практику оружейных заводов Круппа. Выступая на заседании Религиозно-философского общества 6(19) октября 1914 г., Вяч. И. Иванов заявил: «Современная германская культура не

что иное, как всеобъемлющая организация германской воли к порабощению мира»². В статьях Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрн и других мыслителей говорилось о «священной войне», которая духовно возродит Россию и покажет ее особую спасительную миссию в европейском мире. Пангерманизму был противопоставлен панславизм, во имя торжества которого должна была вестись война «до победного конца».

Под флагом «русского возрождения» в стране воскрешали идеи особого исторического пути России, ее мессианского предназначения и национальной самобытности народа. Патриотизм фактически стал синонимом шовинизма и военной экспансии. 30 ноября (13 декабря) 1914 г. М. Горький писал В. С. Войтинскому: «Идут разговоры о духовном слиянии “Великой России” со “Святой Русью”, о мистических началах национализма, о мессианстве третьего Рима, о том, что Русь — носительница истинной культуры и ныне спасает Европу от оков ложной цивилизации. Травля немцев носит совершенно сумасшедший характер, хотя националисты оперируют идеями Фихте, Шеллинга, Шлеермахера»³.

Говоря о том, что война популярна в чайных, дешевых трактирах и на улице, писатель посетовал, что в народе царит «полная неосведомленность о причинах войны, убеждение, что война начата Германией, недоверие к факту, что Германия неизбежно должна была начать войну, была вызвана к войне, непонимание роли Англии и вообще наших “союзников”»⁴. Во второй статье цикла «Несвоевременное», предназначенной для газеты «Русское слово» и запрещенной цензурой, Горький писал: «...эта страшная война была неизбежна вследствие темных предначертаний неразумной силы капитализма, она свидетельствует о временном параличе разума и воли не только у немцев, но вообще у всей Европы. Война — явление позорное и глупое, не говоря о ее преступности; война это праздник той глупости, против которой так долго боролось разумное человечество, в том числе, и немцы»⁵.

В это сложное время, в обстановке параставших оппозиционных настроений в народе, русские писатели разделились на «оборонцев» и «пораженцев». Многие из них старались высказать свое одобрение войне, которая, по их мнению, приведет к обновлению России и покажет всему миру силу русской армии. Ф. Сологуб, всегда далекий от политических тем, предсказывал, что русскими войсками «будет взят заносчивый Берлин», а

И. Северянин даже уверял, что он сам поведет их на Берлин. Близкие Шмелеву писатели тоже заразились «ура-патриотизмом»: И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев стали сотрудниками официозной газеты «Русская воля», А. Ремизов, С. Городецкий, Д. Цензор, М. Кузмин начали печататься в суворинском «Лукоморье».

Какую же позицию занял в эти годы Шмелев? Он не мог стать «пораженцем» хотя бы потому, что проводил в армию единственного, нежно любимого сына. Перед войной Сергей Шмелев был студентом 1 курса естественного отделения физико-математического отделения Московского университета. Ожидая призыва, он поступил в артиллерийскую бригаду, сдал экзамен на офицера в дивизионе и был отправлен на фронт. В 1916–1917 гг. он честно и мужественно сражался с немцами, испытав на войне все тяготы сурового армейского быта. Шмелев вспоминал об этом в письме И. Ильину 29 марта 1947 г.: «...отравлен газами (первыми!) на Стоходе, и — с мокрым платком у рта — командовал огнем. Ранен не был, но 2 раза серьезно был прострелен. Мы, конечно, мучились»⁶.

О чувствах, которые испытал Шмелев, расставаясь с сыном, можно судить по одному из набросков к неоконченному роману «Солдаты» из истории Первой мировой войны. В этюде под названием «Проводы» изображен отец-полковник, провожающий в армию двух сыновей. Сам он после сражения под Карсом получил пулю, которая так и осталась у него под сердцем. Они прощаются в яблоневом саду, который посадил полковник, выйдя в отставку. Отец пытается скрыть от сыновей чувство страха за них и дурные предчувствия: «*Теперь...* один у нас сад ...Россия!», — сказал он поникшим голосом, и яблоня затянуло паутинкой» (6, 393).

Отец любит своих сыновьями, высокими, плечистыми, полными жизни, и тут же понимает, что мальчики, уходя, быть может навсегда, и не оставляют ему потомства: «Надо было... *след* по себе оставить» (6, 393). Война обрывает жизнь солдат и их близких: «Самая жизнь и есть. Но ... теперь все отрублено. Там — другое» (там же). И хотя отец наставляет сыновей («Помни ребятки, солдата береги, назад не смотри, зря голову не подставляй!»), его наигранная бодрость исчезает после их отъезда. «Пустыми показались ему сады. Вспомнил кузнечика... Пошел к дому. Стоял на террасе, зяблика слушал, думал. Садилось солнце — огромным кровавым шаром» (6, 395). Природа соперживает мыслям героя, а солнце уже не играет на блестящих

новеньких ремнях и армейской форме сыновей, а превращается в символ страдания и крови.

Летом 1914 года к Шмелеву обратилась издательница петербургского журнала «Северные записки» с предложением «писать сколько угодно о впечатлениях от восприятия войны в деревне»⁷. Так родился цикл очерков «В суровые дни», которые печатались в этом журнале на протяжении второй половины 1914 и в 1915 гг. Шмелев жил тогда в Калужской губернии, снимая дачу в селе Оболенском Малоярославского уезда. Первые годы войны отразились в его очерках максимально достоверно: от тайных знамений, в которые охотно верит темное деревенское население, до похоронок, идущих с фронта, и возвращающихся домой искалеченных войною кормильцев. Крестьянская Россия переживает войну как народное бедствие, мучительно пытаясь понять, каков же будет «оборот жизни».

Первый очерк цикла называется «На крыльях» и, действительно, отражает бодрое настроение первых дней войны. Летят и летят на запад красные поезда, провожаемые надеждами на победу России, молится деревня на Николу Чудотворца, отправляет на фронт мужей и сыновей и кричит им вслед «Ура-а!». Калужская губерния далеко от врага, она спит пока спокойно. Но автор уже не может уснуть. «Совсем глубокая ночь, скоро начнет светать. А все громыкает и громыкает по мосту, спешит, спешит. Спешит Россия, летит на широких крыльях с широких своих просторов на потревоженные границы. Шумит и шумит железной гремя. И болит сердце, хоть верит и твердо знает, что после великих бурь приходят долгие, незакатные дни» (8, 274).

В очерках «На пункте», «Лошадиная сила», «Развяза» — живые зарисовки первых месяцев войны. Со всех деревень тянутся к городку крестьянские телеги, едут на призывной пункт мужики, запасные, еще недавно служившие в армии. Все захвачены «большой и тяжелой думой» о том, что ждет их впереди, поэтому лица сосредоточенно-деловиты. «Нет радости, но нет и тревоги. Мужики-отцы хмуры. У них, кто идет на войну, — не наигранная выправка стойкости. Да, с такими именно лицами входят в церковь» (8, 276). Ни ругани, ни песен нет среди провожающих. Все слушают маленького кондуктора, который рассказывает, как много поездов уходит на фронт. «Вся Россия зашевелилась... Ночью артиллерия прошла... сто вагонов!» (8, 277).

В том же уездном городке сдают в армию «лошадиную силу»: «Глядят из рядов вороные, саврасые, гнедые, бурые, всякие. Тут

и клейменные, и без тавра, лопоухие и со стрельчатыми ушами, с головами добрыми и строгими, и с побитым плечом, и со всяким изьянцем, и стройные полукровки, и сытые, лохмоногие — волостных богатеев, и такие, что не дотронешься до морды, и крохотные лошадки-мыши» (8, 281–282). Подробный перечень пород, выразительные портреты мужиков сдающих своих коней, складываются в общую картину народной беды, нагрянувшей на Россию: плачут лошади, храпят и бьются, не желая входить в вагоны, плачут и хозяева, расставаясь с ними. Война — беда обшая, перед ней все равны: владелец коннозаводства в золотых очках и фабрикант, владелец тяжеловозов, цыган и чахоточный мужик, сдающий низенькую лошадку с прорезанными ушами.

В этих очерках Шмелев выступает как непревзойденный мастер портрета с натуры, колоритной зарисовки, касающейся всех сторон народной жизни, как светлых, так и темных. Герой очерка «Развяза» — лихой кровельщик Василий, алкоголик и тиран, который зверски избивал мать и жену, пока его не взяли в армию. Его уход — для них «развяза», о чем они давно просили Господа. Но война изменила Василия, в письме с фронта он просит простить его и не помнить плохого. Перед лицом близкой смерти забываются все обиды. Обе женщины прощают непутевого, посылают ему «родительское, свое, матернее благословение» и сообщают, что нет у них на него обиды.

Очерк написан от первого лица: это к Шмелеву приходят крестьянки с просьбой прочитать письмо с фронта, сам автор предлагает старухе Настасье и ее невестке Марье написать ответ сыну. Их фигуры увиденны его глазами: старуха, сухая, сгорбленная с жилистыми бурыми руками, покрытыми болячками и следами от ожогов. «Голос у ней разбитый, напоминающий звяканье треснувшего горшка: по груди били; едва-едва видит белый свет: по голове били и много плакала. Невестка ее не придурковата, какой ее считают: запугана она, и пугливая душа ее где-то бродит — вне жизни. Она больше молчит, крутит пальцами и глядит в землю» (8, 287). Повествование от автора перемежается скупыми репликами женщин: «Поклон от меня пропишите... — сказала первое свое слово Марья и замолчала, — стала опять смотреть в пол. И вдруг заплакала тонким-тонким, нутряным стоном. Бабка толкнула ее и сказала:

— Вздумала чего... в чужом месте.

Марья зажала стон» (8, 290).

В очерке, который по природе своей документален, Шмелев достигает высот художественного мастерства, хотя пользуется лишь нарративом. Реальные картины жизни русской деревни пропущены через его душу и сердце и поэтому дают такой эффект. Можно сказать, что, подобно философу Б. П. Вышеславцеву, писатель придавал большое значение «философии сердца», которая рассматривалась им как умение почувствовать и изобразить жизнь сквозь призму чужой боли, чужого страдания. Рассматривая социальные проблемы в свете христианской любви и сострадания, он постигал тайны духовного своеобразия русского человека, в том числе простолюдина. Шмелев не раз признавался, что всегда слушал свое сердце — оно писало.

В работах «Значение сердца в религии» и «Вечное в русской философии» Б. П. Вышеславцев поставил вопрос о сердце как философско-эстетической категории, об «открытой глубине человека» и органе религиозного опыта⁸. Он писал: «Наконец, в сердце помещается такая интимная скрытая функция сознания, как совесть...»⁹ О «философии сердца» писали также И. Ильин и С. Л. Франк. В соответствии с моральными заповедями христианства Шмелев тоже опирался на категорию совести, которую, как многие мыслители Серебряного века, считал национальной чертой. Пытаясь определить своеобразие русской души, М. Волошин воскликнул в поэме «Россия»:

Зато в нас есть бродило духа — совесть —
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских,
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любым из европейцев — человек¹⁰.

Работы Вышеславцева, как и поэма Волошина «Россия», стали известны Шмелеву в середине 1920-х гг. Однако уже в годы Первой мировой войны у него сформировалась своя «философия сердца», которая станет одной из основ его эстетической программы на всю жизнь. В отличие от многих, писатель не отдал дань «ура-патриотизму» в своих военных очерках, но попытался показать русский народ на войне таким, как он есть. Знаток деревни и внимательный наблюдатель, он воспроизводит и особенности речи мужика (надоть, артилерия, кольки, развяза, иде-лает, ослобонили), и его тяжелые думы об овсах и картошке. о

семье, которая остается без кормильца, и домашний быт в полуразрушенных нищих деревнях, и неприглядную внешность героя. При этом главное внимание писателя обращено на внутренний мир человека, его переживания, если даже они внешне почти не проявляются.

Вот одно из многих описаний набора в армию в очерке «На пункте»: «Под березами одиноко сидит старуха, повязанная до глаз. Крутит соломинку на коленях. За ней свесилась белая голова лошади и дремлет, опустив седые ресницы». Старуха ждет, возьмут ли сына, который пошел на призывной пункт. «Из-под серой теплой кофты комом выпирает поддернутая синяя с красными цветочками юбка, порванные шерстяные чулки на других чулках и широконосые башмаки, какие-то сиротливые, стоптанные. Лошадь в дремоте потряхивает седой головой. Должно быть, и старуха седа. Совсем наклонилась к коленям, а узловатые худые пальцы все вертят соломинку и надламывают ногти» (8. 278).

Душевное состояние старухи передано с помощью одной единственной детали — соломинки, которую она крутит и крутит в пальцах. Портрет красноречиво свидетельствует о нищете и убогости ее жизни, о безотрадной старости, которая будет еще тяжелее, если возьмут на фронт сына. Финал этого эпизода как будто светел: мужика «ослобонили» от воинской новинности, так как у него нет одиннадцати зубов. «Не гоюсь сухари жевать...» — говорит он с усмешкой. Но читатель не испытывает радости: оказывается, мужику челноком раздробило на фабрике челюсть и выбило зубы. Неизбывно народное горе, где даже несчастье превращается в счастье.

За всеми подобными эпизодами отчетливо вырисовывается фигура самого рассказчика, который переживает трагедию народа как собственную, прочувствовав ее не умом, а сердцем. В очерках «Ожидание», «Под избой», «За семью печатями», «Максимова сила», «Мирон и Даша», «Лихой кровельщик» изображена русская деревня в 1915–1917 гг. Идет год за годом, а война не кончается. Возвращаются в деревню искалеченные на войне мужики: лихой кровельщик Василий, потерявший ногу, красавец Мирон, у которого после контузии развилась смертельная болезнь, погибает молодой барин, офицер-кавалерист. Голос автора становится печальнее и глуше. «Бывают такие томительно-долгие непогожие осени. Так же тяжелы и мутны серые дни ожидания», — замечает Шмелев (8, 291).

Деревня ожидает писем без марок — с фронта. Ожидает, затаив боль, потому что писем нет уже давно, а в последнем говорилось, что скоро повезут на линию огня, на позицию. Ожидают газет, смотрят на них беспокойно и тревожно: «Война! Жалей, не жалей — все ложатся, такое дело. Плохо, что на чужом поле ложатся» (8, 294–295). «Вот она, война-то, что идекает! Думано ли, гадано ли!» Война захватила всех «длинной, все цапающей рукой» (8, 292). По воскресеньям у железнодорожного переезда собирается толпа, люди ждут, когда пройдет поезд с фронта: вдруг мелькнет в полураздвинутой двери санитарного вагона родное лицо. Даже ночью, когда проскакивает на большой скорости почтовый состав, его ждут, надеясь на чудо. Льет и льет дождь, порывами налетает холодный ветер, а две бабы с раннего утра стоят на переезде, кутаясь в платки. Не хотят добежать даже до укрытия, боясь, что быстро проскочит поезд, и они прозевают. «И никакого замирения... и никакого замирения... — вздыхает одна из баб» (8, 296).

Шмелев постоянно выступает в очерках как живой свидетель происходящего. Он стоит рядом с бабами, хоронится от дождя и тоже пытается разглядеть что-то сквозь мелькающие забрызганные дождем стекла. «Гудит далеко по ветру. Это на дальней остановке, еще не скоро. Все смотрят. Густая серая полоса дождя, как исполинская основа, протянулась наискось, от неба к земле. Ничего не увидишь сквозь эту плачущую пелену» (8, 296). Тональность повествования определяется эпитетами «серый», «унылый», «невеселый». Природа грустит вместе с людьми: хлюпающие дороги «совсем развихлялись», лужи морщатся в багровых закатах, избитые ветрами березы безнадежно роняют свои зыбкие плакучие ветки, пышные рябины как будто залиты свежей кровью, сизо-багровый закат напоминает кровь с дымом.

В деревне тоже беда за бедой. После начала войны запечатали семью печатями чайную, где бойко торговали водкой, — сухой закон. Мужики стали травиться политурой, одеколоном, самодельным «портевейном». Вынули из петли столяра Митрия, пропил свою душу печник Иван, сгорел портной Василий Рыжий, помер Максим, после которого осталось одиннадцать детей. Замечательные мастера, которые могли сшить фрак и сделать терракотовый камин, теперь превратились в «человеческие черепки» и делают только гробы да кресты на кладбище. Показывая одну за другой человеческие судьбы, Шмелев рисует картину полного развала крепкого крестьянского быта, вырождения и за-

пустения деревни. Даже священник видит вокруг лишь «самоотравление, разорение хозяйства, сквернословие, неуважение к селу и положению и всевозможные болезни» (8, 320).

В рассказе «Оборот жизни» Шмелев подводит итог: «Крепко и глубоко зацепила невиданная война» (8, 321). Кажется, что жизнь в деревне катится по накатанной колее, но это только внешнее впечатление, а если взглядеться, Россия стала иной. Слушая рассказы Митрия, которому недолго осталось жить, автор размышляет о сокровенной тайне жизни и смерти, о характере русского человека, принимающего все с рабьей покорностью. «Вся жизнь позади...а какая жизнь?! Вся она у него оставила черные следы свои на побитых и синеватых шрамах и желтых мозолях на руках, в грустных глазах. И кругом грустно и тихо. Стоят крестцы нового хлеба. И они грустны. И грустны осенние роши в позолоте» (8, 325).

Судьба России и судьба народа рассматриваются Шмелевым с помощью «философии сердца», сокровенного понимания души человека. Герой его очерков — русский мужик, знающий тяжкий труд и ратный подвиг, спокойно идущий на смерть. В рецензии на цикл очерков «Суровые дни» Л. Андреев писал: «Нет в этом мужике прекраснородного народничества, ничего он не пророчествует и не вешает в даль, но в чистой правде души своей стоит он, как вечный укор несправедливости и злу, как великая надежда на будущее»¹¹.

Надежда на будущее была и у Шмелева, восторженно приветствовавшего Февральскую революцию. 14 марта 1917 г. вместе с делегатами Московского совета солдатских депутатов он как корреспондент газеты «Русские ведомости» поехал в Сибирь за освобожденными политическими заключенными. Свои впечатления он передал в цикле очерков «В Сибирь за освобожденными». В поезде едут люди, захваченные «впервые, может быть, пробудившейся политической мыслью», полные радостных светлых порывов, отражающихся в лозунгах «Да здравствует братство!», «Заря свободы русской да озарит весь мир!» Но есть и другой лозунг, который водружает коренастый пехотинец из числа солдатских депутатов: «Месть тиранам!»

Шмелев наивно верит, что народ на крутом переломе истории, действительно, стал свободным. Он восклицает: «Так вот она, какая Россия! И чем дальше, — крепче и крепче веришь, что это она, самая подлинная, вскрытая внезапным порывом не желающей умирать жизни. Россия — не неведомый, таинственный

сфинкс, не темная сила, что пойдет ломить и корежить, нет, это Россия прекрасная, которую знали и глубоко чуяли Достоевский и Лев Толстой» (8, 351). Шмелев испытывает великое счастье, выступая на митинге перед народом. Он видит, что простые люди верят в новую правду, ждут настоящей свободы, «земли и воли». На вокзалах поезд встречают с красными флагами, у многих на груди красные ленточки, писателю кажется, что праздник надолго заменит обычную жизнь. Шмелев призывает идти в народ, учить его и самим учиться. Но мудрые слова пропагандистов (референдум, национализация, кооперация, самоопределение, пропорциональное представительство) не доходят до толпы. Один старик, подняв ногу в обледенелом лапте, кричит оратору: «Всю Расею разули. Лапотки три целковых... Хлаг веселый, а ноги мерзнут» (8, 359).

Поезд забирает в Сибири освобожденных и мчит обратно. 2 апреля 1917 г. его пассажиры справляют первую Пасху в свободной России. Но праздник тут же омрачается страшным известием. Выясняется, что в Святую ночь произошло зверское убийство: бандиты на станции Тайга вырезали целую семью из пяти человек. И Шмелев снова начинает сомневаться, сможет ли народ правильно распорядиться свободой, которую получил. Чем ближе надвигается Октябрь 1917 года, тем мрачнее звучит его голос. В письмах сыну, отвечая на жалобы юного офицера, мучительно переживающего развал армии, дезертирство, отмену дисциплины под влиянием антивоенной пропаганды, Шмелев высказывает свое отношение к происходящему. 3 августа 1917 г. он пишет: «Мне больно за народ. Он не виноват. Он так много и теперь терпит. Только всё трудные экзамены ему закатывают: то держали на месте тысячу лет с завязанными глазами, то сразу сняли повязку, открыли свет на сто дорог, и по какой идти — не могут указать. Да еще по итало-англо-санскритски с ним разговаривают» (8, 8).

В статьях, напечатанных в газетах «Власть народа», «Русские ведомости», цикле очерков «Пятна» Шмелев продолжает рисовать картинки с натуры, воспроизводя речи пропагандистов на митингах, споры в казармах.

— Вы как понимаете анархизм и какой?

— Анархизм не против государственности! — кричит ефрейтор.

— Армия — не партия, не с.-д.! Там и сила мужицкая! Земля!!

— Я веду в атаку, кроют двадцатидюймовыми... а мы запутались в политических дискуссиях! Это хуже колючей проволоки!» (8, 387).

Шмелев все напряженнее вглядывается в новый лик России, мужицкий, солдатский, бунтарский. Восторг от первых месяцев Свободы сменяется у него опасением, что ее белоснежные одежды будут замараны, что разруха и анархия погубят страну. Он видит, что народная Русь всколыхнулась: мужики из деревни приходят в город, чтобы поступить работать на фабрику, фабричные бегут и становятся работниками на земле, солдаты и матросы рассуждают о демократии. Люди пытаются понять смысл новых непонятных слов, искажая их. «Обошаствление, исполатация, баржуй», — слышится в спорах. «Теперь слова за-место оглобли, башку прошибать!» (8, 417).

В очерках «Веселый разговор», «Обошаствление», «По мелководью» Шмелев воспроизводит ожесточенные споры, которые возникают повсюду, где скапливается народ: в вагоне, плотно набитом людьми, на пароходе, севшем на мель. За ними угадывается желание простого человека понять, куда же клонится «оборот жизни», получит ли он «землю и волю» или ее нужно отбирать силой. Жизнь запутывается все больше. В рассказе «Суд Соломона (чего ждет земля)» выясняется, что на заливные луга претендуют не только крестьяне, поверившие во власть Исполнительного комитета, но и фабричные, идущие по лугам на работу, и монастырские, которым луга когда-то принадлежали, и прежний владелец-помещик, и даже городские мещане. В спор вмешивается старик Вострый: «Проглотите вы, говорю, друг дружку, а луга-то, земля-то правды ждет, а не крови!» (8, 402).

Во всех очерках, написанных накануне октября 1917 года, среди многоголосья, воспроизведенного с максимальной правдивостью, слышится трезвый голос самого автора. Монолог, диалог, спор на митинге или в людном помещении становятся у Шмелева средством выяснения правды-истины, которая у каждого своя. Тем не менее во всех произведениях звучит какой-нибудь голос, выражающий мнение писателя.

Рассказ «Книжный человек» построен на диалоге автора и старого книжника из Замоскворечья, которого Шмелев знал с детства. Речь идет о государственном устройстве и надвигающейся революции. Иван Гаврилович, прочитавший все книги Мишле, Карно, Шлоссера, Бокля, Спенсера, Карлейля и Маркса, считает, что история развивается по собственным законам. «Мо-

нархия держится на чести, деспотия — на страхе. И ни одно государство не может удержаться на... жадности. И еще на равенстве надо. Но как понимать это равенство?» (8, 460). Он жалуется на упадок нравов, всеобщее оглушение и разврат, «швыряние народных денег». И хотя собеседник утешает его: «Ничего, Иван Гаврилыч, перекипит, сплывет пена...», он сам чувствует омерзение от дурацкого хохота обывателей и визга граммофонов, от уличного хамства. В его голове звучит «подлый мотив развратной бабы, от которого не было сил отмахнуться, он вьелся в самую середину мозга <...> Стало легче: подавил его успокаивающий перезвон часов старого монастыря» (8, 465).

Последние строки рассказа — выражение мыслей самого Шмелева. До октября 1917 года он и вправду верил, что все обойдется, что Россия начнет строить новую жизнь по законам справедливости и совести, а народ нужно терпеливо учить и развивать. Большевицкий переворот оказался для него неожиданностью. О его отношении к идеологии социал-демократии можно судить по письму Сергею Шмелеву от 9 сентября 1917 г.: «Большевизм, эта политическая крайность, не совпадает с анархическими силами жизни. Руководители большевиков слепы государственно. Для проведения идеалов нового республиканского строя в жизнь — нужна страшная любовь к родине, к народу в целом, а не к отдельному только классу. Это слова Монтескье. И они глубоко верны»¹².

В июне 1918 г. Шмелевы уехали в Крым и поселились в Алуште, неподалеку от дачи С. Н. Сергеева-Ценского, с которым подружились еще во время отдыха летом 1917 года. С ними был и сын, демобилизованный из армии по состоянию здоровья. Однако Сергей пробыл с родителями недолго, т.к. осенью 1918 г. его забрали в Добровольческую армию. Служба окончательно подорвала здоровье юноши. Шмелев вспоминал в письме к И. Ильину 29 марта 1947 г.: «...в Добровольческой армии всего повидал мой мальчик! Бился на бронепоезде под Асхабадом, чудом спасся из красного “кольца”, отступая (путь подорвали большевики), сами белые сожгли бронепоезд и отступали в кольцо красных диких туркмен! Собирался командир застрелиться, но Сережа удержал его... и спаслись!»¹³

В Крыму Шмелев сотрудничал в газетах «Юг» и «Юг России», где печатались его рассказы «Березовая роща», «Письмо лейтенанта», «Пушечное вино» и др. В них писатель вновь обращается к сказу от лица персонажа — старого приятеля, из-

вестного журналиста, английского лейтенанта. Воспроизводя особенности их речи и душевного склада, писатель продолжает художественную линию, начатую в «Человеке из ресторана». Однако эти рассказы носят на себе отпечатки сурового революционного времени. Описывая дивную березовую рощу, необитаемый остров, где под звонкими светлыми деревьями растут особенные грибы, живут дятлы и кукует кукушка, герой рассказа «Березовая роща» поет гимн частной собственности, своей собственности. Он утверждает: «Чувство собственности, трудовой собственности, — особенное свойство человеческого существа. Это сила облагораживающая, если ей, как вообще всякой силе, поставить предел. Это — своего рода радий» (8, 514).

Вспоминая слова друга через три года, Шмелев пишет: «Где теперь мой приятель и его золотая красавица? Ее, конечно, давно срубили, чтобы спасти от холодной смерти заблудившийся у ста дорог коллектив, раньше не боявшийся холоду. А Аким-пчеловод? Померзли и его коммунисты-пчелы, эти коммунисты-слепцы, неведомо для кого работавшие» (8, 515). Текст рассказа распадается на две части: лирическому описанию волшебной рощи противопоставлен приземленно бытовой рассказ солдата Кузьмы о том, как под Курском «коммунии наводят стали». Всех поселили в господском доме, перестроенном под казарму и велели жить «сообща, поровну». «Я своей воли хочу», — возмущается Кузьма. «Лучше в Америку куда, на вольный воздух...» (8, 516).

Шмелев резюмирует: «Ну, Кузьма дорос до личности, его трудно в оглобли взять. Он дорастет и до поэзии моего приятеля, и до “красоты труда”, и до чудесного человеческого сознания, что все ручьи стекаются в великое море жизни» (8, 517). Как мы видим, в первые послереволюционные годы Шмелев еще верил в жизнь, в простого человека и его творческие возможности. В 1919 г. этой веры уже не стало. 2 августа 1919 г. он пишет А. Б. Дерману: «Понимаете ли, жизнь не наладится. Таков наш народ, что хоть улицу им мети. И долго будут им мести, пока эта метла не измотается или пока метельщики не потеряют охоты. А самые страшные метельщики — убитые Богом г.г. левейшие социалисты. И все же: кровь (гениальный прогноз Толстого в сказочке об Ив<ане> Дур<аке>), но отчасти»¹⁴.

В 1919 г. Шмелев написал цикл сказок, в котором намеки на актуальные события времен гражданской войны в Крыму сочетаются с сатирико-юмористическим и одновременно трагиче-

ским осмыслением происходящего. Герои сказок «Преображенский солдат» и «Матрос Всемога», получившие после революции «полную свободу», не могут использовать ее на пользу людям, т.к. запродали бесам-интернационалистам «свою русскую честь-совесть». Всемога, который и впрямь поверил лысому бесу, что ему «недалеко до Бога», начал действовать так: «все начальство прекратил, корабль утопил», золотыми кольцами, браслетами, часами разжился и пошел гулять-погуливать. Войдя в кураж, он не замечает бедствий народа, может убить ребенка, ограбить банк.

Преображенский солдат тоже не может найти себе дела «на свободе»: на самокатах досыта накатался, по дворцам на пуховых постелях навалялся, винца всякого попил заморского, на Питер с аэроплана плевал. «Уж чего-чего не пытал гвардеец преображенский: и стекла сапогом бил, и фонари из монтекристи резал, и суконце господское в вагонах обдирать принимался, и... На чугунного коня у вокзала лазил, а настоящей радости нет и нет!» (8, 567). А когда ему стало страшно, вспомнил про Николу Угодника, хотел помолиться да лампадки-то не нашел: ее сапогом разбили. Так Шмелев изображает свободного русского человека, поверившего, что теперь «все дозволено».

В сказке «Веселый барин» писатель уверяет, что все беды русского народа начались из-за того, что правящим классам было наплевать на его нужды. Всю жизнь веселый барин только ел, пил и посвистывал, пока не пришла беда: все его капиталы пропали, бриллианты украли. Пришлось ему идти узнавать свою судьбу к Мартыну Задеке. А тот, посмотрев на небо в трубу, все объяснил: беда случилась из-за того, что слишком сладко барин жил, слишком много жрал, вот «земновесие» и изменилось. Но недолго новые «цари-короли» будут править: «скоро и им-то самим несладко будет, опять на свою планиду перестегнут» (8, 581).

Колоритный простонародный язык, сказочный сюжет и счастливый конец напоминают русские народные сказки. Однако у Шмелева в сказках, как правило, есть второй глубинный подтекст. Сказочная символика дополняется злободневной, политической. Бес, одолевающий героев, это большевики, производящие над Россией кровавый эксперимент, революционер Мутный — один из бесов Достоевского, Ванюшка — русский народ, которого сбивают с пути иностранцы и иноверцы, Матрена Ивановна — Россия-матушка, Карл Иванович — немец-смутьян Карл Маркс, «холера мозговая» — большевизм.

Трагедию русского народа писатель переживает прежде всего как кризис нравственности, торжество вседозволенности, бесовское наваждение в обществе, отвернувшемся от евангельских заповедей под влиянием большевистской пропаганды. Он верит лишь в белое воинство, которое может спасти страну. В сказке «Степное чудо» Россия изображена в виде умирающей бабы, которую грабят все, кому не лень: жадный мужик, корыстолюбивый солдат, лихой матрос. Спасают ее только воин, который «Родину шел-искал», и святой Николай-Угодник. На крик воина «С нами Бог!» отзываются не люди, а братья во Христе.

Среди крымских произведений Шмелева выделяется аллегорический рассказ «Голос зари», написанный 3 марта 1920 г. и переписанный рукой С. И. Шмелева. Писатель посвятил его сыну, т. к. хотел оставить ему завет слушать «голос зари» даже в те дни, когда «помутились люди, ожесточилось сердце». Старый татарин Али слышал слова Пророка, говорящего: «Не обманет голос зари». Повинуясь этому голосу, он распродал все свое имущество и скупил на базаре пшеницу. А когда пришли плохие времена («Дух Смерти вынул из человека сердце», а люди «стали лить кровь, как вино, и ценить слезы дешевле соли»), он начал печь хлеб и продавать его беднякам по дешевой цене. Али не слушал проклятий, которыми осыпали его другие торговцы на базаре, не жалел даже собственного сына, делая так, как велел голос зари.

Этот голос отомкнул ему сердце, народ стал благословлять Али за доброту и милосердие, а после смерти хоронили его всем миром как святого. Своему сыну Али оставил завет, написанный на белой стене углем: «Все огни земные погаснут — не угаснет огонь в светильнике Аллаха!» Доброе сердце — самая большая ценность в мире, несравнимая с деньгами и богатством. Шмелев входил в самую страшную пору своей жизни, свято веря в собственную «философию сердца». Б. Вышеславцев писал: «Человек “без сердца” есть человек без любви и без религии, безрелигиозность есть в конце концов бессердечность. Неправда, будто существует какая-то безрелигиозная сердечность в форме гуманности. Самые большие преступления были оправданы декламациями о любви к человечеству в духе Руссо и Робеспьера»¹⁵.

В период Октябрьской революции Шмелев размышляет о добре и зле, силе духа и власти оружия, вине и ее искуплении и приходит к выводу, что с помощью насилия нельзя осуществить вековую мечту о социальной справедливости (рассказы

«Убийство», «Голуби» и др.). Писатель изображает замутившееся от гнева народное море, в котором под влиянием большевистских агитаторов растет животная злоба, слепое всепоглощающее чувство возмездия. Растление духа народа Шмелев считает самым страшным из преступлений, особенно если этим занимаются люди, лишенные чувства кровной связи с Россией. Носители новой «интернациональной» веры были в глазах писателя убийцами именно потому, что отвергли христианские заповеди и забыли о совести. «Философия сердца», исповедуемая писателем, не позволяла ему принять и оправдать «проклятый чертополох», людей без родины и чувства патриотизма.

¹ Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. М.: Искусство, 1993. С. 116.

² Публицистика Горького в контексте истории. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 292.

³ Горький М. Полное собр. соч. Письма. Т. 11. С. 137.

⁴ Там же.

⁵ Публицистика Горького в контексте истории. С. 274.

⁶ Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 108.

⁷ Черников А.П. Проза И.С. Шмелева. С. 168.

⁸ Путь. 1925. № 1. С. 79.

⁹ Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1953. Глава X «Значение сердца в философии и религии».

¹⁰ Волошин Максимилиан. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 304.

¹¹ Русская воля. 1917. № 8, 9 января. С. 7.

¹² ОР РГБ ф. 387. К. 9. Ед. хр. 24.

¹³ Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 108.

¹⁴ Литературное обозрение. 1997. № 4. С. 31.

¹⁵ Русские философы. Антология. С. 321–322.